Название дисциплины-Период

**Комплект заданий по дисциплине (модулю) «\_Литература\_»**

Группа: \_\_\_\_УМ-21 иУМ-21к\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Преподаватель: \_\_\_Семенова Нина Георгиевна\_

Е-mail):\_\_semmenova@mail/ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: \_21.06.2022\_**

Тема \_ Вера Панова ,Роман «Кружилиха»

# Текст задания .Прочитать главы»Дети войны» и « Воскресение».Краткий пересказ написать в рабочую тетрадь. Подчеркнуть художественные топонимы в описании

# Кружилихи( Мотовилихи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество часов на выполнение задания:\_\_2\_учебных часов (в день)

**Срок сдачи 21.0.22.**

В рабочей тетради написать пересказ глав. Принести на занятие.

**Формат ответ(писмьенный)**.Ответ направить для проверки преподавателю на электронную почту с названием: semmenova@mail/ru Фамилия\_имя\_группа\_№задания (в теме письма информацию продублировать).

Онлайн чтение книги **[Кружилиха](https://librebook.me/krujiliha" \o "Вера Федоровна Панова)**

В прозрачном золоте, в воздушно-алом сиянье над широкой рекой поднимается солнце. Вместе с солнцем поднимается в небо медленный, торжественный гудок. Он заглушает грохот паровозов, шум машин, человеческие голоса, — и беззвучно проходят паровозы по заводскому двору, беззвучно сбрасывают свой груз подъемные краны, беззвучно шевелят губами люди… Могучий гудок долго плывет по реке, его слышат в городе, который стоит в девяти километрах от Кружилихи.

По гудку к проходным устремляются люди. Одни пришли пешком из поселка, другие приехали трамваем, большинство — поездами. Длинные поезда подвозят и подвозят людей к полустанку — из города, из пригородов. Только остановится поезд, народ высыпает из вагонов и спешит к заводу — и приливает, приливает, приливает толпами к проходным. Тулупы, ватники, кожанки, шинели, штатские пальто, меховые шубки. Платки, ушанки, шлемы-буденовки, вязаные шапки. Мужчины и женщины, брюнеты и блондины, высокие и малорослые, веселые и печальные, озорные и скромные, — десять тысяч людей добрых всякого роду-племени сошлось на завод на дневную смену.

Гудок утихает медленно, он словно спускается с высот — ниже, ниже, припадает к земле, распластывается по ней, замирает где-то в недрах глухой басовой нотой. Протекли, разлились по цехам людские потоки. Только охрана осталась в проходных… Смена началась.

[Читать далее](https://librebook.me/krujiliha/vol1/2)

**Глава пятая. ДЕТИ ЗАВОДА(мемориал труженикам тыла у станции Мотовилиха)**

Как-то был у Листопада спор с Зотовым: где рабочее место директора. Зотов доказывал, что в кабинете.

— Ты пойми, — говорил он, — мы с тобой действительно генералы, под нашим командованием армии. Начальники цехов, главный конструктор, главный технолог, главный механик, главный металлург, главный энергетик — это ведь высший командный состав! Что же мне, бегать за каждым? Слушай, ведь начальник цеха смыслит в своем деле, ей-богу, не меньше нас с тобой. Их нервирует, когда крутишься у них перед глазами; они думают, что директор им не доверяет… Я бываю на сборке и на испытаниях, а вообще я у себя, люди приходят — я на месте, моментально приму — культурно… А к тебе звонишь, звонишь — один ответ: он на заводе. А если ты кому-нибудь срочно нужен? Где тебя поймаешь? Это пережитки первого периода стройки: «Где начальство?» — «На лесах…»

А Листопад тосковал в кабинете. Сидеть за письменным столом было ему трудно. Посидит час-полтора и идет в цеха.

Но все-таки получалось так, что едва Листопад появлялся в кабинете, как раздавались телефонные звонки и приходили посетители, и всем им Листопад действительно был очень нужен, — очевидно, без сидения в кабинете никак не обойтись…

Вот и сегодня. Едва он вошел, как Анна Ивановна доложила, что три раза звонил комсорг завода Коневский, спрашивал директора. Коневский за все время обращался к Листопаду не больше четырех-пяти раз и всегда по серьезному делу. Листопад велел Анне Ивановне сейчас же созвониться с ним.

Коневский явился очень скоро. Это был узкоплечий, еще не сложившийся юноша с молодыми темными усиками, с горячими карими глазами, с лицом неправильным, подвижным и прелестным, какое может быть только у очень молодого и очень хорошего человека. Ворот вельветовой блузы с застежкой «молнией» не закрывал его шеи, нежной, как у девушки. Он старался выглядеть солидным и укротить свою горячность, — кровь то и дело приливала к его лицу.

Листопад оглядел его с чувством собственнической гордости. Эти вельветовые блузы достал по его заказу начальник ОРСа: Листопаду хотелось, чтобы у молодых людей на заводе был вот именно этот демократически-элегантный, непринужденный вид…

Коневский рассказывал о слесаре, подростке пятнадцати лет, который проштрафился: прогулял целую неделю, и теперь его надо отдавать под суд. Коневскому было жалко Тольку, из-за этого он сюда и пришел; жалко потому, что прогулял он — Коневский это понимал — по ребяческому легкомыслию. Но чтобы выручить Тольку, надо было сделать что-то незаконное, и это было мучительно Коневскому. Кроме всего прочего, Толька — родственник Уздечкина. Об этом надо было сказать директору, но тот может подумать, что Коневский заступается за Тольку из соображений кумовства и семейственности. Сам Уздечкин ни за что не будет хлопотать за родственника, он в таких вещах человек щепетильный. Он даже задрожал, когда Коневский необдуманно сказал ему: «Федор Иваныч, а не поговорить ли вам с директором?..» Толька отмежевывается от Уздечкина (Коневский полагал — тоже по щепетильности), говорит: «Он мне вовсе не родственник, какой он мне родственник, подумаешь — сестрин муж. Он мне никто!»

Коневский так и изложил все дело, не упомянув о родстве Тольки с Уздечкиным.

Листопад смотрел на него ласковыми глазами и молчал. Волнуется парень: молодость! Пусть еще поволнуется — забавно смотреть, как он краснеет.

— Вы что же предлагаете? — спросил Листопад. — Конкретно — как, по-вашему, надо действовать, чтобы обойти закон?

Коневский побледнел и сразу залился румянцем — до чего это здорово у него получается…

— Я думал, что, может быть, можно задним числом дать приказ о недельном отпуске.

— Этим же не я занимаюсь, — сказал Листопад нарочно ленивым голосом. — Этим начальник цеха занимается.

— Начальник цеха не возьмет на себя такую ответственность.

— А я возьму, вы считаете?

Карие, с голубыми белками глаза взглянули на Листопада смело, горячо и серьезно.

— Да, я считаю, что вы возьмете.

— Вот вы какого обо мне представления, — сказал Листопад. — Считаете, что я народные законы могу обходить… Но скажите мне такую вещь…

Он стал закуривать и закуривал очень долго.

— Вы с другой точки зрения — с партийной, комсомольской, государственной — не смотрели на это дело? Вы подумали о том, какой пример будет для остальной нашей молодежи, если мы с вами покроем этот прогул?

Коневский встал.

— Александр Игнатьевич, — сказал он, — я смотрю на это дело с человеческой точки зрения, и мне кажется, что это самая партийная, самая комсомольская точка зрения и что она больше всего совпадает с духом нашего государства и с духом Конституции.

Он произнес эту маленькую речь сгоряча и, как только кончил, смутился ужасно.

— Как фамилия мальчугана? — спросил Листопад.

Он записал: Рыжов, Анатолий, механический цех.

— Я вам сейчас ничего не скажу. Позвоните мне вечером.

Анна Ивановна все эти четверть часа стояла у неплотно закрытой двери кабинета и вслушивалась в разговор. Она ничего не сказала Коневскому, но проводила его любящим взглядом.

Вот так живешь, думала Анна Ивановна, и воображаешь, что все делаешь как нужно. Думаешь, как бы не потревожить соседей, деликатничаешь, по коридору ходишь на цыпочках… А может быть, надо иногда без стука войти к ним и вмешаться в их жизнь. Скоро четыре года, как я живу в этой квартире, Толе не было двенадцати лет, когда я приехала, но уже тогда считалось, что дети — это Оля и Валя, а Толя взрослый. Мать посылала его во все очереди, и дрова он носил, и с девочками сидел, когда она уходила. Она была тогда здоровая, могла и сама стоять в очередях… Помню, Таня как-то сказала, что Толе совершенно некогда готовить уроки. А потом он остался на второй год и сказал, что ему все надоело, что, как только ему исполнится четырнадцать лет, он пойдет на производство… Все лучшее из еды отдавалось Вале и Оле, а о нем стали говорить, что он таскает из дому вещи, и я начала, уходя, запирать комнату, чтобы он не стащил что-нибудь… Он поступил на производство, и помню, — пришел при мне с работы весь перепачканный и мыл в кухне свои маленькие черные руки; мне стало его ужасно жалко, и я дала ему пирожок… Пирожок! Я должна была вмешаться, настоять, чтобы ему создали в семье нормальные условия, чтобы он продолжал учиться в школе, — ведь не было у них такой уж большой нужды… Может быть, и материально следовало ему помочь, а я не обращала на него внимания, заботилась только о Тане и о себе… О, какие мы черствые, отвратительные эгоистки!

А вот теперь он под суд пойдет, и мы все будем в этом виноваты, все его домашние… Александр Игнатьевич — добрый человек, он бы его выручил; но захочет ли он помогать родственнику Уздечкина, у них такие отношения… Саша Коневский не сказал, но ведь Александр Игнатьевич узнает!.. Как хорошо сказал Саша о Конституции. Чудный мальчик Саша, чувствуется, что вырос в очень хорошей семье…

Напрасно Федор Иваныч до такой степени обострил отношения с директором. На что это похоже — так хлопать дверью, как он на днях хлопнул! Но он очень несчастлив… Он, видимо, сильно любил жену и, видимо, привык работать в другой обстановке, и при его раздражительности и самолюбии ему, понятно, трудно работать с Александром Игнатьевичем… И дома у них тоска! Я не помню, чтобы они смеялись…

Как много горя принесла война. Какие хорошие вещи — человеческая взаимопомощь, человеческое внимание друг к другу. Вот когда они особенно нужны! Но мы о них так часто забываем…

Листопад велел плановому отделу подготовить сведения: сколько на заводе на сегодняшний день молодежи до восемнадцати лет, с разбивкой по возрастам, сколько из них учится, сколько не имеет семьи, и так далее. А сам пошел в механический — ему хотелось видеть мальчугана, о котором ходатайствовал Коневский.

За годы войны много подростков пришло на завод. Одни пошли по горячему желанию быть полезными родине в тяжелую минуту; других пригнала нужда: отцы-кормильцы воевали, надо было поддержать семью.

Из этих молоденьких многие оказались хорошими работниками, о них говорили на собраниях, писали в заводской газете, и Листопад знал их в лицо.

Так знал он Лиду Еремину, работавшую на сборке в литерном цехе. Ее все звали просто Лида. Она поступила на завод шестнадцатилетней девочкой. Небольшая такая девочка с острыми локотками, в локонах, в белых туфельках — мамина дочка.

Лида привыкла жить так, чтобы были и туфельки, и конфетка после обеда, и чтобы, когда она ведет сестренок на детский утренник, то все бы на них засматривались и говорили:

— Какие прелестные, ***присмотренные***девочки!

Когда отца мобилизовали, а мать собиралась поступать в почтовую контору, Лида нашла, что теперь ее очередь содержать семью.

— Ты сиди дома, мама, — сказала она. — Я заработаю больше тебя.

Ей было жаль бросать школу, но она решила, что доучится после войны.

В первый же день ей пришлось переменить несколько работ. Сперва ее посадили укупоривать изделия в бумагу. Потом велели укладывать в ящики. Потом бригадирша сказала: «Переходи туда, будешь навертывать восьмую деталь».

Она не сердилась и не терялась, она понимала, что ее пробуют. Она сосредоточила все мысли на этих незнакомых предметах, с которыми ей теперь придется иметь дело каждый день, пока не кончится война. У нее были легкие, ловкие пальцы: в классе никто не умел так завязывать бант, как она. Она работала на закатке и на клеймении, навертывала восьмую деталь и так шла от хвоста конвейера к его голове, от последней операции к первой, от второго разряда к четвертому.

В нерабочие часы мастер преподавал работницам технический минимум. Лида аккуратно ходила на занятия и сдала испытания.

Первая операция: вставлять капсюль в корпус. Лида сидела в голове конвейера. Капсюли похожи на крохотные графинчики, с наперсток величиной: горлышко графинчика — сосок капсюля. Сторона, противоположная соску, обернута фольгой: прямо — елочная игрушка.

Около Лиды ставили ящички с капсюлями: по пятьсот штук в ящичке, особая упаковка, сургучная печать на веревочке, приклеенной мастикой, сверху, как откроешь, лежит аттестат… Лида выработала специальные жесты: шикарно — молниеносным движением пальцев — срывала пломбу, шикарно — как бросают карту, которая выиграла, — бросала аттестат на конвейер… Норма на закладку капсюля была сперва одиннадцать тысяч за одиннадцать часов, потом, поднимаясь постепенно, дошла до двадцати двух тысяч. Лида делала пятьдесят пять. Один раз она попробовала работать еще быстрее и сделала шестьдесят три тысячи. Но после этого у нее долго дрожали руки, и она почувствовала себя выжатой, опустошенной, — испугалась и запретила себе это делать: лучше отказаться от громких рекордов, но уж держаться на двух с половиной нормах и не сдавать этих позиций ни за что! Были женщины, которые начинали блестяще: напряжется, даст в какой-то месяц три нормы, а потом скатывается на сто — сто двадцать процентов…

Лида сидела у конвейера с повязанной платком головой. Кругом должно быть чисто, никаких лишних вещей, боже сохрани, чтоб были в одежде булавки, иголки! Может быть большая беда. Одна женщина вот так уколола первую деталь булавкой: ей оторвало палец и опалило лицо… Для Лиды лучше было умереть, чем потерять красоту; и она очень береглась… Металлические стаканчики двигались мимо нее по ленте, левой рукой она перехватывала стаканчик, правой вставляла сосок капсюля в канал. За Лидой сидели два контролера ОТК: они проверяли после нее взрыватели, чтобы не было пустых; они едва успевали проверять, так быстро она работала!

Сначала на закладке капсюлей, кроме Лиды, была еще одна работница. Но она начала спать. Сидит и дремлет, и пропускает взрыватели!

— Уберите ее, — сказала Лида бригадиру, — пусть она спит в другом месте.

Она была безжалостна, она ничего не прощала людям. В своем юном задоре она не понимала, как это можно опуститься до того, чтобы клевать носом у конвейера. Что вам снится, гражданка? Убирайтесь спать домой, я справлюсь без вас…

Иногда и ее размаривало от усталости. Тогда она не запевала песни, как делали другие: пение отвлекало ее от работы. Она предпочитала поссориться с кем-нибудь, чтобы взбодриться, — например, придраться к контролерам, что они по два раза просматривают один и тот же взрыватель. Видно, им двоим тут делать нечего; так пусть, которая лишняя, идет в транспортеры. Пусть кинут жребий — кому оставаться на конвейере, кому возить тележки…

А то можно было поднять шум на весь цех, чтобы сбежались и профорг, и парторг, и комсорг, и женорг, все орги, сколько их ни есть, и сам начальник товарищ Грушевой: что за безобразие, опять ящики не подают вовремя, она двенадцать минут просидела без капсюлей, держат бездельников, когда это кончится!.. Ей очень нравилось, что все начинают ее уговаривать, а Грушевой бежит звонить по телефону, кого-то распекать и жаловаться директору.

После смены Лида мыла руки, снимала с головы платок и распускала по плечам свои крупные пепельные локоны. Выйдя из цеха, она принимала то мечтательное выражение, которое она любила у себя. Из маленького чертенка она превращалась в хорошо воспитанную девочку — мамину дочку. В редкие выходные дни она гуляла с молодыми офицерами и ***морячками***из морского училища; они обращались с нею так, словно она была стеклянная: она создана для изысканных чувств и слов, все девушки кажутся грубоватыми рядом с нею… Восхищенным ***морячкам***в голову не приходило, что она умеет кричать пронзительным голосом на весь цех, а при случае не задумается дать по физиономии — будьте уверены…

В сорок четвертом году ее наградили орденом «Знак Почета». Она носила колодочку с ленточкой: это эффектно; на мальчишек это производит жестокое впечатление…

В доме она занимала теперь то место, какое до войны занимал отец. Мать старалась, чтобы к ее приходу все было прибрано и ужин был горячий, еще платье надо прогладить для Лидочки, чулочки заштопать для Лидочки… Мать вырезывала из газет все, что писалось о Лидочке, и Лидочкины портреты, и посылала отцу.

С Костей Бережковым Листопад познакомился так. Однажды позвонил к нему главный бухгалтер: как быть, одному рабочему начислили за месяц девятнадцать тысяч зарплаты, неслыханная цифра, начальник цеха и парторг настаивают на уплате, платить или воздержаться?..

— Что за рабочий? — спросил Листопад.

— В том-то и дело, — сказал главбух, — что если бы старый, кадровый, а то мальчишке семнадцать лет, без году неделю на производстве. — Видимо, последнее обстоятельство и внушало главбуху подозрение.

Листопад заинтересовался, позвонил Рябухину. Тот объяснил: полтора месяца назад завод получил срочный заказ. Выполнение заказа задерживалось из-за перегрузки станков «Sip». Тогда Костя Бережков изготовил на «Sip» кондуктор для сверления отверстий на расположение и с помощью этого кондуктора обработал детали. Да, действительно заработал девятнадцать тысяч, и действительно на заводе всего около двух лет, чертовски талантливый парнишка, из него будет инженер…

Листопад приказал немедленно выдать Косте Бережкову зарплату, а сам пошел в цех — посмотреть, что за Костя. Оказалось — обыкновенный мальчик, высокий, с крупными чертами добродушного лица, большерукий, рукава короткие — из спецовки вырос… Он поговорил с Костей: один, живет в общежитии; мать с четырьмя младшими детьми живет далеко, в маленьком городке; отец погиб на фронте. На завод Костя пришел из ремесленного училища.

— Не учишься? — спросил Листопад.

— Я занимаюсь с Нонной Сергеевной, — сказал Костя.

— С какой Нонной Сергеевной?

— С товарищем Ельниковой, конструктором. Нас несколько человек с нею занимается, — объяснил Костя.

Потом Листопаду сказали, что Нонна Сергеевна по собственному почину отобрала несколько мальчиков и девочек из бывших ремесленников, они ходят к ней домой, и она их учит. Саша Коневский считал, что следовало бы это дело ввести в общую систему технической учебы, время от времени устраивать ребятам экзамены, это было бы поучительно для всей заводской молодежи. Занятия лучше проводить в клубе, чтобы могли присутствовать все желающие… Рябухин не согласился с Коневским: ребята не ходят в клуб, потому что там холодно, а у Нонны Сергеевны тепло. И чаем она поит, говорят ребята, — и у нее много интересных книг по технике, их можно брать с полок и рассматривать.

— А Нонне Сергеевне, — сказал Коневскому Рябухин, — ты и не заикайся, чтобы переходила в клуб и что ее учеников будут экзаменовать: женщина с фокусами, фыркнет и бросит все, и конец хорошему начинанию. Подождем, сама к нам придет.

Листопад премировал Костю, а когда спустя сколько-то времени захотел опять увидеть его, Кости на заводе уже не оказалось: отослал матери свои девятнадцать тысяч и ушел в индустриальный техникум.

Листопад рассердился: как отпустили человека, полезного для производства? Грушевой разводил руками, бормотал что-то насчет того, что Нонна Сергеевна очень настаивала… Эта Нонна Сергеевна крутит людьми по своему усмотрению. Указать бы ей ее место, да не хочется связываться с бабой…

Вот таких молодых людей, как Костя Бережков, Лида Еремина, как способный техник Чекалдин, Листопад знал в лицо и живо интересовался ими. Но существовало еще несколько тысяч подростков, у которых не было никакой славы. От них, случалось, приходили в отчаянье старые мастера, привыкшие иметь дело с опытными и дисциплинированными рабочими. А между тем они работали и давали продукцию, и их неловкими усилиями, слитыми воедино, выполнялась программа военного времени. Кроме Лиды и Кости, был на заводе мальчик Анатолий Рыжов, он прогулял целую неделю, и его надо отдавать под суд.

Небольшого роста коренастый мальчуган работал у сверлильного станка. Кругом были такие же мальчуганы, в таких же спецовках, но у Анатолия Рыжова было выражение, отличавшее его от всех, — выражение угнетенности; и по этому выражению Листопад еще издали угадал прогульщика. Прогульщик мельком взглянул на подходившего директора и продолжал свое дело.

— Рыжов? — спросил Листопад.

— Рыжов, — ответил Толька.

— Это ты неделю шлендрал? — спросил Листопад.

— Я, — ответил Толька. Про себя он подумал: «Эх, люди!.. Тут преступление и наказание, а он с шутливыми словечками: шлендрал». Толька сурово насупился и вложил в зажим новую деталь…

Листопад остановил станок и спросил:

— Тебе сколько лет?

— Шестнадцать, — отвечал Толька. Ему еще не исполнилось шестнадцати, но он исчислял свой возраст не со дня появления на свет, а по году рождения: если родился в 1929 году, значит, в 1945-м ему шестнадцать лет.

— Где же ты был? — спросил Листопад.

Толька ответил не сразу. Ему надоело отвечать на этот вопрос.

— В деревне.

— В деревне? Что делал? Работал, что ли?

Толька молчал.

— У тебя семья в деревне?

— Нет, тут у меня семья, на Кружилихе.

— Кто у тебя?

— Мать.

— Ты один у матери или много вас?

— Один, — сказал Толька и сам удивился: ему до сих пор не приходило в голову, что он у матери один. При матери он числил Федора, Ольку и Вальку, а себя — в последнюю очередь и между прочим.

— Ты по доброй воле к нам пришел, — сказал Листопад. — Законы военного времени тебе известны, так? Ты понимаешь, что мы тут не шутки шутим. Мы все силы напрягли — завершаем великое дело, ради которого сотни тысяч наших советских людей отдали жизнь; а ты дезертируешь…

Он говорил суровым голосом и чувствовал нежность ко всем этим ребятам, к этим чистым глазам, которые смотрели на него, которых он раньше почему-то не замечал.

— А вы где, ребята, живете?

Ребята замялись: никому не хотелось выскакивать — отвечать первым…

— Вот ты — где живешь?

— Я? — переспросил Алешка Малыгин. — Я тоже в семье живу.

— А ты?

— В юнгородке, — отвечал беленький, похожий на девочку Вася Суриков. — Я и вот он, и вот он — мы живем в юнгородке.

Юнгородком называли десяток стандартных двухэтажных домов, построенных в годы войны для молодых рабочих, не имевших жилья.

— Как там у вас, в юнгородке? — спросил Листопад. — Хорошо?

По тому, как переглянулись ребята, он понял: совсем не хорошо.

— Ничего, — сказал Вася Суриков со снисходительностью мужчины, понимающего трудности и не боящегося их, — жить можно.

Листопад смотрел на них, и чувство умиления, почти благоговения, наполняло его душу.

Он надвинул Тольке кепку на нос и сказал:

— Обожди, ребята, еще немного, перейдем на мирное положение, получите отпуска, дадим вам путевки в дом отдыха, кое-кто, наверно, пожелает идти учиться, — все еще будет, ребята. Все.

Подошла Марийка, расстроенная.

— Вот, товарищ директор, никакой сознательности, — сказала она, качая головой. — А еще родственник председателя завкома. Осрамил Федора Иваныча на всю Кружилиху! — сказала она Тольке с сердцем.

Листопад не понял:

— Как председателя завкома? Кто родственник?

— Да он же, а кто же, — сказала Марийка. — Вот этот красавец молодой… Ну, как же. Покойной жены Федор-Иванычевой родной брат, вместе и живут.

Листопад помолчал, соображая.

— Ладно, — сказал он, — работай, Рыжов, замаливай грех.

«Ах, хорошая вещь ребята, — подумал он, уйдя от них, — ах, хорошая!..» Взбодренный, словно вспрыснутый весенним дождем, он прошел в конторку к мастеру Королькову, кликнул по телефону Мирзоева и поехал в юнгородок.

Мирзоев сидел за баранкой необычно серьезный и строгий, со сведенными тонкими бровями.

— Чего у тебя сегодня вид бледный? — спросил Листопад.

— Отмечаю траурный день, — тихо и торжественно отвечал Мирзоев, глядя перед собой печальными глазами. — Ровно три года назад погиб мой лучший начальник и товарищ, которого я возил: командир нашего батальона… Это был человек! Буду жить еще сто лет — буду помнить.

У каждого за годы войны выросли свежие могилы. Будь жива Клаша, был бы сын, сыновья, мальчики с чистыми глазами и мужскими душами… Сколько потеряно, сколько лет пройдет, пока зарастут могилы быльем-травой!

Чернее тучи вернулся Листопад из юнгородка и сразу позвонил Уздечкину.

— Федор Иваныч? Прошу вас ко мне зайти. Сейчас же.

В том, что увидел Листопад в юнгородке, был виноват не один Уздечкин. Вину с Уздечкиным делили и Рябухин, и Коневский, и прежде всего он сам, Листопад. Но Уздечкина Листопад не любил, и весь гнев его пал на Уздечкина.

Он встретил его стоя, в той надменной и неприступной позе, которая приводила Уздечкина в бешенство. И до конца разговора не сел, и Уздечкин вынужден был стоять перед ним. Уздечкин был худой, неуклюжий, сутулый, — и так неуклюже и сутуло и стоял перед великолепным директором.

— Федор Иваныч, — сказал Листопад, — на что это вы недавно просили у меня денег? Шестьдесят тысяч. На что?

— Шестьдесят тысяч мы просили у вас на ремонт Дома культуры, отвечал Уздечкин.

— Ах, на ремонт Дома культуры. Что там нужно?

— Паровое отопление нуждается в ремонте. Частичное остекление. Общая окраска помещений. У директора Дома есть мысль перекрасить зрительный зал под мрамор.

— Могучая мысль. И на все про все шестьдесят тысяч?

— Мы же знаем, как вы неохотно отзываетесь на наши просьбы, — кольнул Уздечкин. — В основном вложим наши средства.

— Откуда у вас средства?

— Молодежь предлагает отработать субботник.

— Так… А скажите, Федор Иваныч, почему вы у меня не просите денег на ремонт юнгородка? Не под мрамор, а просто — чтобы создать там человеческие условия жизни?

«Ага! — подумал Уздечкин. — Ну, нет, тут не подкопаешься!»

— Мы занимаемся юнгородком, — сказал он. — У нас есть акт обследования комиссии, который мы на днях будем обсуждать.

— Обсуждать?! — обрушился на него Листопад. — Что вы, черт вас побери, будете обсуждать?! Степень активности членов комиссии? или каким цветом крышу красить?.. Там же все отсырело, ребята пропадают от сырости! Мусор, грязь, у управхоза вот такая морда — дрыхнет, должно быть, по целым дням… Вы раковину видели, водопроводную, над которой они умываются? Трубы забиты — до края грязная вода стоит! — это он, чтобы умыться, должен сначала всю эту мерзость вычерпать оттуда… Это — жилье? Вас бы поселить в таком жилье, товарищ председатель завкома, тогда бы вы занимались не престижем своим, не склоками, а занимались бы тем, чем нужно, чего ждут от вас рабочие!.. Вы публично в грудь себя кулаками колотите, кричите, что я вас подменяю, что я вам не даю вашу марку ставить на всем, что на заводе делается, а на поверку выходит, что если я лично не влезу в самое вот такое малюсенькое дело, то оно с места не двинется! Черт бы вас побрал, кто этой раковиной должен заниматься, я или вы?.. Я вас спрашиваю: я или вы?

— Мы не перестаем заниматься бытом, — со страшной выдержкой сказал Уздечкин. — Весь наш жилищный фонд требует ремонта, а не только юнгородок. Мы отремонтировали три квартиры для семей фронтовиков, у нас двадцать семей остронуждающихся, — в конце концов, не может завком охватить все сразу…

— А не может охватить, так уходите — уступите место тем, которые могут!

Уздечкин презрительно смотрел в сторону. Настоящее, непритворное спокойствие вдруг овладело им. Вот куда клонит директор: чтобы Уздечкин ушел с поста. Ну, нет. Его не Листопад назначил: он избран членами профсоюза — тайным, прямым, всеобщим голосованием… Директору придется считаться с этим.

— Всеобщие трудности, за них завком не несет ответственности, сказал он тихо. — У нас сотни заявлений, разбираем в порядке очередности… Вот намечен ремонт Дома культуры, делаем, что можем, для семей фронтовиков, — этим в первую, конечно, очередь, потому что это прямые иждивенцы завода…

Листопада затрясло.

— Слушайте, — сказал он, — вы мне этого слова не говорите. На заводе нет иждивенцев, ни прямых, ни косвенных. Есть дети завода, одни учатся, другие работают, но все они дети завода, все до единого — и потрудитесь обо всех заботиться!.. Это я вам говорю как член профсоюза, как ваш избиратель, которому вы обязаны отчетом! Понятно? Да как на вас положиться, — заключил он, — когда вы в своей собственной семье не можете позаботиться о парнишке, не можете дать ему лад… Чего другим от вас дожидаться!..

Тяжело ненавидеть человека, с которым приходится работать вместе. Это началось, когда жена Листопада лежала в гробу. Уздечкин поймал себя тогда на подлой мысли, что вот-де и у Листопада такое же горе, вот и у Листопада жена умерла, есть же все-таки на свете справедливость… Он ужаснулся этой мысли, прогнал ее, постарался забыть…

Но больное самолюбие — а Листопад его не щадил — раздражалось изо дня в день. Организм отказывался бороться с этой болезнью. Силы падали. Уздечкин вышел от Листопада в состоянии мертвенной усталости и нервного оцепенения.

Листопад сказал начальнику соцбыта:

— Съездите в юнгородок, осмотрите дома, представьте смету на ремонт… И не так ремонтировать, чтобы главные дыры заткнуть, — добавил он, засверкав глазами, — а так, как вы бы отремонтировали собственную квартиру!

Онлайн чтение книги **[Кружилиха](https://librebook.me/krujiliha" \o "Вера Федоровна Панова)**  
 **Глава одиннадцатая. ВОСКРЕСЕНЬЕ**

— Люди добрые, что делается! — сказала Марийка, вбежав в свою кухню. — Федор Иваныч из последних сил стирает белье. Старухино ситцевое платье вкинул в корыто вместе со своими кальсонами. Из кальсон теперь зеленая вода хлещет, он их отжимает, довел до салатного цвета — больше, говорит, ничего поделать не могу; так и присужден в зеленых кальсонах ходить. Я говорю: ты их вывари. Говорит: не в чем. А у них был бачок, Нюра покупала. Это Толька забрал, холера, — он конфеты жрет, а Федор Иваныч, изволь радоваться, в Анны-Иваннином корыте стирает, и бачка в доме нет…

Марийка схватила свой бачок для кипячения белья и убежала. Было утро воскресенья, выходного дня. В кухне топилась плита, на ней в больших и малых кастрюлях варился обед. Мирзоев брился у кухонного столика. Задрав намыленный подбородок, не отрываясь от своего занятия, он скосил глаза на Лукашина, который над раковиной чистил свою вставную челюсть. Лукашин, сжав запавшие губы, взглянул на Мирзоева. Мужчины поняли друг друга. Мирзоев сказал, вздохнув:

— Тяжелое зрелище, когда видный человек принужден погрязать в мелочах быта…

Он кончил бриться, проворно убрал со стола бритвенный прибор и остановился перед Лукашиным — статный, ловкий, в новых красивых подтяжках.

— Беда! — сказал он весело. — Проведаем, сосед, Уздечкина, а?

Лукашин обмыл челюсть под краном и, стыдливо отвернувшись, вставил ее в рот. Дар речи вернулся к нему.

— Можно, — сказал он.

— Вечерком, — сказал Мирзоев.

Лукашин подумал: вечером они с Марийкой уговорились идти в кино… Но тут же он решил, что Марийку баловать не стоит. В кои веки есть возможность целый день провести вместе с мужем, а она убежала к Уздечкину. А в пятницу или, кажется, в четверг она на всю лестницу расхваливала зубы Мирзоева…

— Сходим, — сказал Лукашин Мирзоеву. — Развлечем человека.

Уздечкин трудился над корытом с раннего утра.

Уже не было ничего чистого, чтобы сменить. В прачечной стирали долго, и надо было платить, а денег у Уздечкина, вследствие одного несчастного случая, совсем не было. Решил стирать сам.

— Федя! — стонала Ольга Матвеевна. — Оставь, сынок, я поправлюсь перестираю…

— Когда это будет! — буркнул Уздечкин.

В армии он нередко стирал на себя, и это не казалось ему трудным. Он храбро вытащил из чулана узел с грязным бельем. Из узла посыпались старушечьи кофты, детские платьишки, замазанные до черноты, детские лифчики, такие маленькие, что неизвестно как их держать в руках… Черт его знает. Как будто и носить нечего, а смотри-ка, целая куча барахла.

Попался под руку Толькин белый свитер и промасленный комбинезон, Уздечкин бросил их обратно в чулан: это пускай Толька сам стирает.

Оля стояла, прижав к животу кукольную кровать, и смотрела, как отец растапливает плиту.

— Я тоже буду стирать, — сказала она.

— Будешь, дочка, будешь, — сказал Уздечкин. — Лет через пяток будешь стирать.

Анна Ивановна в лиловой пижаме (не разберешь: юбка на женщине или штаны), с папиросой в зубах, румяная со сна, вышла в кухню, когда Уздечкин намыливал белье в эмалированном тазике.

— Господи! — сказала она. — Разве в таком тазике выстираешь? Вы возьмите мое корыто, оно же там, в чулане, на самом виду стоит.

— Я не рискнул взять, не спросясь, — сказал Уздечкин.

— Подумаешь, драгоценность, — сказала она и сама принесла ему корыто.

Она выдвинула на середину кухни скамью, положила на скамью несколько поленьев, чтоб было повыше, а на поленья поставила корыто. Уздечкин не догадался ей помочь. Он стоял с мокрыми руками и думал, что, когда она поднимает тяжести и сгибается над кучей дров, выбирая поленья поровнее, забываются ее необыкновенные платья, и красные ногти, и непонятные разговоры по-английски с Таней, а видна рабочая женщина с широкими плечами, которая не погнушается никаким трудом…

— Ну, вот. По крайней мере вы все сразу теперь можете намочить, сказала она и стала умываться под краном — плескать водой во все стороны, крепко обеими руками мылить уши и забавно полоскать горло, откидывая голову…

Уздечкин принял ее совет буквально: взял и вывалил в корыто разом все — белое и цветное. Спохватился, когда белье уже было перепачкано зеленой краской от старого крашеного платья Ольги Матвеевны. Тут и застала его Марийка, заскочившая узнать, что у соседей.

— Караул, батюшки мои, спасите! — сказала она, заглянув в корыто.

Она принесла бачок и стала вместе с Уздечкиным отжимать белье.

— Знала бы — переоделась бы, — сказала она, с сожалением глядя на свою праздничную розовую кофточку. — Погублю свой туалет, купишь мне новый, Федор Иваныч.

— Так вы идите, — сказал Уздечкин, смутившись. — Я сам. А то, в самом деле, испортите вещь…

— А что на нее, на ту вещь, молиться, что ли? — закричала Марийка.

— Ну конечно, здесь Марийка, — сказала Анна Ивановна, входя в кухню. — Где крик, там и Марийка. Угостите табаком, Федор Иваныч, у меня кончились папиросы.

Оля постояла немного в кухне, глядя на стирку, потом ей наскучило, она ушла.

У себя в комнате ей тоже показалось скучно: Вали нет — ушла к девочке в гости; бабушка дремлет, на столе ничего хорошего — хлебные крошки, да солонка, да остатки овсяной каши на сковороде… Оля вздохнула и пошла к Анне Ивановне.

Там была только Таня, она стояла коленями на стуле, облокотившись на стол, и читала книгу. Черные ее косы лежали на белой скатерти по обе стороны книги. Таня подняла глаза, спросила рассеянно: «Это ты?» «Я», ответила тонким голосом Оля, закрывая за собой дверь, как приказывала Анна Ивановна.

Таня больше не замечала ее, и Оля тихонько пошла по комнате, высматривая, нет ли чего нового. Было новое: на этажерке лежало большое красное яблоко. Особенно хорошо его было видно, если стать около качалки. Оля замерла около качалки, глядя на яблоко.

Таня дочитала книгу, закрыла ее, закрыла глаза и положила щеку на переплет. «Как закалялась сталь» — было написано на переплете. На щеках Тани, под ресницами, блестели слезы… Таня подняла голову и увидела близко от себя Олин профиль и светлый, чистый, серьезный глаз, вдохновенно устремленный на этажерку. Таня засмеялась и слезла со стула.

— Ты что? — спросила она.

Оля подняла к ней лицо и спросила:

— Для кому это яблоко?

Таня взяла гребень и стала расчесывать светлые прямые волосы Оли.

— Яблоко — для одной очень хорошей девочки, которая всех слушается…

— Всех? — переспросила Оля.

— …и никогда не капризничает.

— Совсем-совсем никогда? — переспросила Оля.

Взгляд ее стал печальным: ясно, что яблоко не для нее.

— Дурак мой маленький, — тоном Анны Ивановны сказала Таня, отрезала половину яблока и дала Оле.

— А эту половинку мы оставим для Вали, — сказала она.

Оля взяла яблоко обеими руками и поскорее пошла из комнаты, забыв кукольную кровать на качалке: Таня могла передумать и забрать яблоко обратно. Уже в коридоре Оля сообразила, что оставлять другую половину Вале несправедливо: может быть, Валя ест яблоки в гостях у девочки; конечно же, Таня должна была отдать Оле все яблоко. Оле стало так тяжело от человеческой несправедливости, что она зарыдала. Никто не пришел на ее рыдания: в кухне кричала Марийка, ничего, кроме ее крика, не было слышно. Рыдая, Оля съела яблоко и еще долго потом плакала, размазывая по щекам слезы грязными кулачками. Наконец сказала:

— А может, там в гостях никаких яблок и нету.

И, высморкавшись в подол платья, пошла по квартире искать новых приключений.

У Тольки сегодня большой день: пришла его очередь на «Графа Монте-Кристо».

Принес эту книжку в бригаду Алешка Малыгин. Откуда достал такую — не сказал. Книжка была толстая, растрепанная, до того зачитана — ободраны не только поля, но и концы строк. Носил ее Алешка с величайшей бережностью завернутую в газету и перевязанную веревочкой. Он сказал, что если начнешь эту книгу читать, то уже не будешь ни спать, ни есть, пока не дочитаешь до конца, и что писатель, который сочинил это, — прямо-таки невозможный гений. Тотчас ребята стали записываться в очередь; чтобы установить очередь, тянули жребий. Те, которым достались последние номера, возмутились: они не соглашались ждать так долго. Чуть было не разодрались. Шум поднялся — рабочие, входившие в цех, затыкали уши.

— Об чем базар? — спросил, подойдя, мастер Корольков.

Ему не ответили: и голоса-то его не услышали. Марийка пришла, и та не сумела перекричать ребят. Орали до тех пор, пока Вася Суриков не внес предложение: разделить книгу на три равные части, чтобы одновременно читали три человека. Один читает начало, другой — середину, третий конец; потом меняются между собой. Таким образом сроки прочтения сократятся в три раза.

— Триста процентов экономии во времени, — сказал Вася.

Алешка, жадина, сперва объявил, что не позволит такую ценную книгу делить на части. Но ему доказали, что это с его стороны глупость и больше ничего: у книги все равно нет корешка, она вся распадается на листочки. Тут же, на станине, разделили книгу. Перенумеровали части красным карандашом, упаковали каждую заботливо и вручили трем счастливцам, которым выпал жребий читать в первую очередь.

И вот на целый месяц заболела бригада! После бессонных ночей, проведенных за чтением, ребята приходили в цех бледные, изнуренные. И только и было разговоров, что о графе Монте-Кристо. В книге не хватало многих листков, и некоторые читатели не могли уловить связи событий, но другие все поняли и с жаром давали объяснения непонимающим; а те слушали благоговейно… Слушали с жадностью и те, кто еще не читал.

Корольков пытался восстановить порядок. Саша Коневский провел воспитательную беседу. Рябухин разговаривал с ребятами, вызывали их к начальнику цеха — ничего не помогало. Заикнулись было о том, что книга для производства вредная и хорошо бы ее изъять совсем, — куда там!..

— Через наши трупы, — сказал маленький Вася Суриков: он еще не читал, его очередь была следующая.

В конце концов Корольков рассудил так: пускай переболеют, что поделаешь — эпидемия вроде скарлатины.

— Только давайте читайте проворнее, — сказал он. — На пять частей, что ли, ее поделите, будь она трижды проклята.

Если остаться на выходной день дома, то пошлют за хлебом, за керосином, в аптеку, Федор скажет: «Ну-ка, пошли дрова пилить», Валька и Олька будут реветь и приставать, мать будет охать, — никакого отдыха рабочему человеку.

И Толька, чуть проснувшись, удирает к Сережке, испытанному другу.

У Сережки не житье, а малина. Отец его жив-здоров, он теперь подполковник и служит в Таллине. Прислал письмо, чтобы мать приехала, посмотрела: если понравится — пусть переезжают всей семьей. Мать поехала в Таллин, а Сережка и Генька остались дома полными хозяевами. Жизнь!

Толька приносит «Графа Монте-Кристо», завернутого в газету. Сережка на электрической плитке варит манную кашу для Геньки. Он обещал матери, что будет заботиться о Геньке, и свято держит слово.

— Принес? — спрашивает он у Тольки.

— Принес. Кончай эту муру.

— Сейчас. Надо позавтракать.

Каша тяжело пыхтит, пузыри вздуваются на ней и лопаются с треском. Сережка сыплет в кашу сахар, размешивает и выключает плитку:

— Готово!

И облизывает ложку.

Генька на полу вырезывает фигуры из карточной колоды. Королей и валетов он уже вырезал, остались дамы. С дамами большая возня: надо пририсовать каждой усы и бороду, иначе взвод будет неполный.

— Генька, завтракать! — говорит Сережка.

Генька лениво съедает несколько ложек и возвращается к картам. Кашу доедают Сережа и Толька. После каши они чувствуют себя недостаточно сытыми и едят кислую капусту с постным маслом. После капусты им хочется пить, они пьют сначала холодную воду из-под крана, а потом теплое кипяченое молоко.

— Я очень удачно устроился с молоком, — говорит Сережка. — Не надо ходить на рынок: молочница приносит мне на дом. Понимаешь, Геньке необходимо молоко.

— Сами пейте эту отраву, — говорит Генька, лежа на полу и орудуя ножницами, — а мне купите газированной воды с сиропом.

— Он страшно обнаглел за последнее время, — говорит Сережка. — Прямо не знаю, что с ним делать.

Толька достает деньги и говорит:

— Генька, а Тенька! Пойди купи себе воды с сиропом. И мороженого.

— Мороженого близко нет, — говорит Генька, принимая деньги.

— Мороженое около рынка продают, — говорит Сережка. — Знаешь, немного не доходя до рынка, там мороженщица всегда стоит. Только смотри, не попади под машину.

— Хорошо, — говорит Генька, одевается и уходит.

Толька и Сережка остаются одни в квартире. Толька разворачивает «Графа Монте-Кристо».

Лукашин сидел на диване и умирал от скуки и злости.

Комната была убрана по-воскресному: на столе богатая скатерть с разводами и в вазе свежие бумажные цветы — пышные розы и маки… Марийка это умела — создать уют. Вымыла полы, нарядилась в розовую кофточку, велела и Лукашину надеть праздничный костюм; он послушался, сбрил щетину с лица, вычистил ботинки и челюсть и теперь сидит, как дурак, один против вазы с цветами. А Марийка застряла у Уздечкина.

Он сидел и строил планы страшной мести: пожалуйста, будьте любезны, я вас не связываю. Но позвольте мне в таком случае и себя считать свободным человеком. Она придет, я ее встречу равнодушно и скажу: наконец-то ты, Марийка. Я тебя жду для серьезного разговора. Не сошлись мы с тобой, как хочешь, не сошлись. Неосновательный ты человек. Какая из тебя жена. Ставлю тебя в известность, что я сейчас же переезжаю к твоим старикам. И пожалуйста, без слез, Марийка. Достань мне, будь добра, мое белье, я не хотел без тебя копаться в комоде, теперь это уже не мой комод…

Тут Марийка зарыдает и станет уговаривать его остаться. Но он возьмет свои вещи и пойдет ночевать к Никите Трофимычу. С неделю придется там пожить… Нет, недели много: дня три. Каждый день после работы Марийка будет прибегать к нему в цех и молить, чтобы он вернулся. Два дня он будет неумолим, а на третий смягчится. Только он поставит жесткие условия: по чужим квартирам не бегать, если кому нужен бачок — пусть сами приходят за бачком… Второе условие — проявлять тактичность: если у твоего мужа вставная челюсть, то хвалить зубы холостого соседа — просто бессовестно. Скажете: мелочь, и нечего на нее так болезненно реагировать? Я бы посмотрел, как бы вы реагировали, будь у вас вставная челюсть…

Марийка прилетела, вся розовая, от нее пахло щелоком и теплом. Лукашин бросил короткий, пронзительный взгляд и увидел, что руки у нее красные, кожа разбухла от воды. «Стирала! — ужалило его. — Стирала с Уздечкиным!»

— Семочка, мученик, страдалец, умираешь от голоду, и главное, в потемках, хоть бы свет зажег, — с порога пошла сыпать Марийка, бросаясь к буфету. — Сейчас все будет, щи на плите горячие, чуть не умер мой котик, но вообрази положение Уздечкина: руководящий работник — и живой души нет, чтобы позаботилась… — Марийка духом выбросила на стол тарелки, ложки, рюмки, вылетела в кухню, примчалась обратно, и не успел Лукашин приступить к объяснению, как уже сидел за столом, пил водку и ел пирог.

— Вообрази! — говорила Марийка, тараща добрые глаза. — Такое у него жалованье и снабжение хорошее — и не хватает на жизнь! Что значит мужчина: не умеет жить! Как хочешь, Сема, женщина в доме — это все…

Пирог был с картошкой и грибами. Картошку растила Марийка, грибы сушила Марийка. Лукашин ел и думал, что сегодня он уже не уйдет к Никите Трофимычу: момент для объяснения упущен, в другой раз как-нибудь. Марийка оскорбила его без злого умысла, по глупости. За глупость не следует наказывать так жестоко. Да и лень тащиться после сытного обеда на другой конец поселка, да еще с тяжелым сундуком…

Вошел Мирзоев.

— Приятного аппетита, — сказал он.

— Пирога не съешь ли? — спросила Марийка. — А водку, не взыщи, Сема выпил.

— У меня своя есть, вот, пожалуйста, — сказал Мирзоев и, потянув за горлышки из карманов, показал две бутылки. — Сосед! Уговор не забывать.

— Рано, — сказал Лукашин, жуя. — Попозже. После обеда надо отдохнуть.

— Что это вы затеваете? — спросила Марийка.

— Хотим проведать Федора Иваныча, — отвечал Мирзоев. — А то, понимаете, что у него за жизнь!

— А в кино?! — вскричала Марийка, гневно обернувшись к Лукашину.

— Никакого кино, — сказал Лукашин, очень довольный, что может тут же рассчитаться с Марийкой за ее дурное поведение. — Иди сама, если хочешь. Мы сегодня собираемся мужской компанией.

— Папа, — спрашивает Оля, — у нас правда была мама или же нет?

— Правда, — отвечает Уздечкин. — Была. Вон она, ты ведь знаешь.

Оля в рубашонке лежит на кроватке, а он стрижет ей ногти на ногах. Портрет Нюры висит на стене напротив: волосы, завитые «перманентом», феерически освещены, простенькие глаза под подбритыми бровями подняты с мечтательным выражением…

— Ты — как мама, — говорит Оля, у которой одна щека ушла в подушку, а другая как бы подпухла, и от этого маленькие губы тоже как бы припухли и сдвинулись с места. — Ты все для нас делаешь. Я маму не помню, я только тебя помню.

Это она говорит для того, чтобы подлизаться к нему.

— Я тебя люблю, — говорит она.

— Ты угомонишься или нет? — спрашивает Уздечкин. Он проводит рукой по ее теплой шелковой головке и хочет уйти.

— А конфету? — спрашивает Оля.

— Надоела ты мне, дочка! — говорит Уздечкин и приносит конфету.

Звонок. Пришли Мирзоев и Лукашин. У Мирзоева такой вид, словно он пришел на именины. Лукашин робко держится за его спиной.

— Мы к вам, сосед, — говорит Мирзоев. — Принимаете гостей?

Уздечкин ведет их в комнату. Он уверен, что они пришли по делу, с просьбой или жалобой.

— Добрый вечер, бабушка! — восторженно приветствует Мирзоев Ольгу Матвеевну. — Вы не будете так любезны похлопотать насчет чайника? Знаете, после выпивки стакан горячего чая…

— Какая выпивка? — спрашивает Уздечкин, недоумевая. — Вы что, товарищи?

Лукашин пятится к двери…

— Я надеюсь, — говорит Мирзоев, прикладывая руку к сердцу, — что вы не примете за недостаток уважения или за что-нибудь другое и не побрезгуете нашей компанией.

— Я не пью, — говорит Уздечкин.

— Пьет даже чижик, — говорит Мирзоев, нежно касаясь его локтей. Извиняюсь, конечно, я не в смысле сравнения. Вы понимаете! Мы с товарищем Лукашиным захотели выпить по случаю воскресенья, вдвоем как-то скучновато, я говорю — пойдем к соседу, может, он согласится составить нам компанию…

— Вы ошиблись, товарищи. Я не могу составить вам компанию.

Уздечкин говорит нерешительно. Ему бы и хотелось посидеть с людьми, но он боится: Мирзоев — шофер Листопада; вдруг Листопад потом скажет: «Председатель завкома пьянствует с моим шофером…»

Мирзоев в недоумении: как может человек не принять другого человека, который пришел с открытой душой и со своей выпивкой?! Лукашин говорит уже из-за двери:

— Пошли.

— Федор Иваныч, — говорит Мирзоев, — вы шутите: почему нам не выпить немножко?

— Мне, товарищи, некогда, — говорит Уздечкин. — У меня еще работа есть.

Так красиво вошел Мирзоев, — как теперь уходить?.. С какими словами?..

— Да что вы? — говорит он вяло. — Действительно, вам и отдохнуть некогда…

— Должность такая, — притворно улыбается Уздечкин.

— Действительно, — притворно улыбается Мирзоев. — Хлопотливая должность… Ну, так — так так. Всего лучшего, извините за беспокойство…

Домой вернулись молча.

— Вы что обратно? — встретила их Марийка. — Не приняли вас?

— Некомпанейский человек, — сказал Мирзоев.

— Промахнулись мы с вами, — сказал Лукашин. — В самом деле, чего ради он будет с нами пить? Ну, сосед, так что из этого? Он же руководство все-таки; а мы люди небольшие… А водке что же — пропадать?

— Нет, зачем же ей пропадать, — морщась, сказал Мирзоев, которому вовсе не хотелось пить. — Выпьем.

Они присели к Марийкиному столу и вдвоем, вздыхая, грустно распили водку.

[Читать далее](https://librebook.me/krujiliha/vol1/13)